АРТУР ДУНАЕВ



РОВНОСТЬ ДУХА

Aequanimitas

РОМАН О МАРКЕ АВРЕЛИИ

18+

Артур Дунаев

Ровность духа. Aequanimitas
Роман о Марке Аврелии

«Автор»
2026

Дунаев А.

Ровность духа. Aequanimitas Роман о Марке Аврелии / А. Дунаев — «Автор», 2026

Император Марк Аврелий ночами на Дунае записывает мысли, которые станут «Размышлениями». Роман о чуме, войне, предательстве и о том, как оставаться человеком, когда у тебя власть над половиной мира.

© Дунаев А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Ровность духа. Aequanimitas 5
От автора 6
Часть I. Веррисимус 7
Глава 1. Слово ночи 7
Глава 2. Плащ философа 9
Глава 3. Похвала пыли 12
Глава 4. Учитель не ходит к ученику 15
Глава 5. Душенька 18
Глава 6. Невеста 22
Глава 7. Антонин 25
Часть II. Два августа 29
Глава 8. Вода и хлеб 29
Глава 9. Письма с востока 31
Глава 10. Города, которые горят 33
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Артур Дунаев
Ровность духа. Aequanimitas
Роман о Марке Аврелии

Ровность духа. Aequanimitas

Роман о Марке Аврелии
Артур Дунаев

От автора

Эту книгу я написал из восхищения.

Марк Аврелий был императором самой большой державы своего времени. Он воевал, судил, хоронил детей и брата, терял близких и каждую ночь, на чужих берегах, записывал для себя несколько строк о том, как не потерять человеческое лицо. Эти записи дошли до нас: небольшая книга, которую обычно называют «Размышлениями». Всё остальное в основном исчезло. Мы знаем даты, битвы, указы и слухи, но почти не знаем самого человека: как он смеялся, чего боялся, за что себя корил.

До нас дошли лишь самые малые его мысли. Я искал книгу, которая попыталась бы хоть приблизительно переосмыслить его личность и его жизнь, и не встретил такой. Тогда мне, как автору, захотелось хотя бы в малой доле реконструировать некоторые события, из которых эти мысли могли вырасти: детство в доме Адриана, смерть Антонина, чума, смерть брата, потерянная армия, измена Кассия, смерть Фаустины.

Поэтому «Ровность духа» написана так, будто Марк сам вспоминает свою жизнь по ночам на Дунае. Я старался держаться истории. Там, где источники молчат, я додумывал, и в конце книги честно перечислил по главам, что здесь правда, а что вымысел, чтобы читатель мог всё проверить.

Работая над книгой, я сам стал чуточку ближе к пониманию этой личности и бытия тех времён: мира, где хлеб значил больше речей, где чума приходила вместе с армиями и где у императора не было права ни на отпуск, ни на слабость.

Я надеюсь, что читатели, знакомые с мыслями Марка, окунутся в ту эпоху и узнают знакомую интонацию. А те, кто его записей никогда не читал, откроют для себя этого человека. И если после этой книги кто-то возьмёт в руки «Размышления», а потом Эпиктета, Сенеку, Музония Руфа и других стоиков и пойдёт дальше к самому стоицизму, я буду считать, что книга сделала всё, что могла.

Артур Дунаев

Часть I. Веррисимус

Глава 1. Слово ночи

Записано на реке Грон, в земле квадов. Врач велит мне спать. Я не слушаю врачей по ночам.

Ночью на Дунае слышно всё: как течёт вода, как шепчутся часовые, как где-то далеко воет волк. Я слышу это годами и не могу привыкнуть. Рим шумел иначе. Но когда я закрываю глаза, я слышу не Дунай и не Рим. Я слышу тишину виллы в Лории, и в этой тишине один голос, старый и спокойный, говорит одно слово.

Начну с него.

* * *

Это было в марте. Мне оставалось полтора месяца до сорока лет, а ему было семьдесят четыре.

Антонин Пий жил в Лории, в двенадцати милях от Рима, по Аврелиевой дороге. Он любил это место: здесь он вырос, сюда он сбегал от сената, как другие сбегают от долгов. Дом был старый, с тёмными балками, с запахом дыма и мокрой глины. Он сам следил, чтобы к столу не подавали лишнего.

В тот вечер подали сыр. Горный, альпийский, жирный и острый. Он съел немного, как всегда. Ночью его вырвало. К утру начался жар.

Я не придал этому значения. В семьдесят четыре года желудок обижается на всё. Врачи тоже не придали. Это была наша общая ошибка, одна из тех, что делают люди, когда не хотят верить.

На третий день он велел собрать всех.

* * *

Мы вошли: префекты, несколько друзей, я. Комната была маленькая. Окно открыто, потому что он не выносил духоты. Он лежал на спине, лицо жёлтое, сухое, как пергамент, и смотрел в потолок.

Я смотрел на него и думал о том, что всю жизнь живу в его тени. Это не упрёк. Тень бывает прохладной.

Он никогда не был похож на императоров, которых лепят скульпторы. Не любил золота, не любил лести, не любил, когда перед ним ползают. Его любили за то, что он был скучным в том смысле, в каком скучно хорошее здоровье. Двадцать три года он правил так, что о нём почти нечего рассказать: ни побед, достойных поэмы, ни казней, достойных трагедии. Рим при нём просто жил. Я потом много думал о том, как редко это удаётся.

Он повернул голову и посмотрел на меня.

Мне было семнадцать, когда умирал другой император, Адриан, злой, умный, больной. Перед смертью он усыновил Антонина при одном условии: Антонин усыновит меня и Люция, сына Цейония Коммода. Хитрая арифметика старика: двое мальчиков про запас. Адриан звал меня Веррисимусом, Правдивейшим, и я не знал, шутка это или приговор. Я слишком рано понял, что значит быть мальчиком, о котором уже всё решили.

Я не хотел власти. Я хотел книг. Фронтон учил меня красиво говорить, и я любил его, как любят красивую одежду. Рустик, мой другой учитель, однажды сунул мне в руки записи речей бывшего раба, философа из Никополя, по имени Эпиктет и сказал: «Читай и не болтай». Я прочёл. Это была первая книга, которая посмотрела на меня в упор.

С тех пор я знал, чего хочу. Жить тихо, думать, учиться владеть собой. А меня готовили к другому.

* * *

Он заговорил тихо, но слышно было каждое слово. Государство, сказал он, теперь принадлежит мне. Не как подарок, а как долг. Он не поучал и не завещал, он просто передавал, как передают тяжёлый предмет: чтобы тот, кто принимает, понял вес.

Потом он приказал вынести из своей спальни золотую статую Фортуны. Её всегда держали у ложа императора, как талисман. Двое слуг подняли её и понесли. Они понесли её ко мне.

Я смотрел, как золото проплывает мимо окна, и думал: вот и всё. Так просто. Не выборы, не сражение, не сенатский возглас. Двое слуг и статуя.

К вечеру он попросил повернуть его к окну. Было холодно, пахло дымом и весной.

Дверь тихо открылась. На пороге стоял молодой трибун ночной стражи. Лет двадцати семи, широкоплечий, с лицом, на котором усталость уже начала выигрывать у выправки. Я его не знал. Он стоял так, как стоит человек, которого учили не смотреть на то, чего видеть нельзя.

Это был Гай Корнелий Руф. Тогда я ещё не запоминал имён стражи.

Трибун шагнул вперёд и по обычаю спросил:

– Какое слово на ночь, император?

Каждую ночь император даёт страже слово. Пароль. Он меняется: «Победа», «Верность», «Согласие». Самый простой ритуал власти, какой я знал.

Антонин приподнялся на подушке. Мы замерли. Он посмотрел на трибуна и произнёс:

– Aequanimitas.

Ровность духа. Невозмутимость.

Трибун, кажется, не сразу понял. Потом чуть склонил голову, повторил слово шёпотом, как повторяют молитву, и вышел. Я слышал, как за дверью он передаёт слово стражникам, и слово идёт по коридору, по двору, по лагерю.

Антонин повернулся на бок, лицом к стене, как человек, который собирается спать. Он и правда уснул. Он не проснулся.

Я стоял и думал: он знал. Он выбрал последнее слово, как выбирают последнее блюдо. И выбрал его не для стражи. Для меня.

* * *

Тело он оставил на заботу жрецов. Я оставил в Лории часть себя, которую не умею назвать. Через день мы въехали в Рим.

Сенат собрался в курии. Белые тоги, тихое шуршание старых людей, которые все знали, чего хотят. Они хотели меня. Одного. Они вставали, говорили долгие речи, называли меня Августом, и слова их были тёплыми, как масло. Среди этих лиц я искал хоть одно, которое не лгало бы, и не нашёл.

Я встал и сказал, что приму власть, только если вместе со мной её примет мой брат Люций.

Тишина была такой, что я слышал, как у кого-то скрипнула кожа башмака.

Никогда прежде в Риме не было двух равных императоров. Были соправители, наследники, помощники. Равных не было. Сенат пошептался, как шепчется стая птиц при перемене ветра, и согласился. Они всегда соглашаются. Я оставил себе одно: жреческий сан верховного понтифика. Всё остальное мы делили поровну.

* * *

Люция я нашёл в его доме. Он встретил меня у ворот, с кубком в одной руке и с краской на пальцах другой: он только что смотрел, как расписывают колесницу для будущих игр. Ему было тридцать. Он был красив той красотой, которую не нужно заслуживать, и знал это. Он любил охоту, цирк, гладиаторов, музыку, друзей, вино и всё, что я любил меньше, чем книги.

Он был мне брат не по крови, а по решению мёртвых. Но я любил его. Не так, как любят равного. Так любят ту часть жизни, которой сам не позволяешь себе.

– Брат, – сказал я. – Умер отец.

Он поставил кубок. Побледнел. Помолчал.

– Я знал, что это будет скоро, – сказал он. – Но не думал, что так.

Мы стояли друг напротив друга. Потом я сказал:

– Теперь нас двое.

– Двое кого?

– Августов.

Он засмеялся. Подумал, что я шучу. Я смотрел на него и не улыбался.

– Ты не шутишь, – сказал Люций.

– Я никогда не шучу.

Он посмотрел на меня долгим, странно трезвым взглядом.

– Это хуже, чем я думал, – сказал он.

Я не знал, что делаю. Подарок это брату или приговор нам обоим. Позже я понял, что верны оба ответа.

В ту ночь я не спал. Лежал и повторял слово, которое слышал в Лории. Aequanimitas. Я тогда не знал, что оно станет уроком на всю оставшуюся жизнь. Мне предстояли чума, война, предательство и могилы. Мне предстояло учиться этому слову каждый день.

Я учусь до сих пор.

Глава 2. Плащ философа

Мне было двенадцать, и я решил, что мой дом слишком мягкий.

Дом стоял на Целии, большой, тихий, с садом, в котором дед годами выращивал одни и те же груши. После смерти отца я жил у деда, а мать жила в соседнем крыле и приходила ко мне по вечерам, как приходят проверить, на месте ли драгоценность. Её звали Домиция Луцилла. У неё были кирпичные мастерские на Тибре, склады, кораблики с глиной, и мне говорили, что она богаче многих сенаторов. Она носила простые платья и считала каждую монету, и это всегда казалось мне красивым.

Учителей у меня было много. Один учил грамоте, другой стихам, третий считать. Они приходили по очереди, пахли чернилами и уходили, а я оставался тем же мальчиком. Потом появился Диогнет.

Он был живописец. Худой, смуглый, с вечно измазанными охрой пальцами, и сразу сказал мне, что рисует хуже, чем думает, и думает хуже, чем живёт. Я не понял тогда, шутка это или правда. Он учил меня рисовать, и на третьем уроке вместо кисти дал мне книгу. Греческую, без картинок.

– Читай вслух, – сказал он. – Если слов не понимаешь, значит, они что-то значат.

Я читал. Это были диалоги. Люди сидели в тени, разговаривали о том, как жить, и ни один не торопился. Я пришёл домой и не мог есть. Мне казалось, что я вдруг увидел комнату, в которой жил всю жизнь, и заметил, что в ней нет окон.

* * *

Через месяц я надел плащ.

Грубый, серый, греческий, как носят философы. Я купил его сам на рынке у Эмилиева портика на деньги, которые копил на книги. Торговец, горбатый старик с одним глазом, долго смотрел на меня, на мою тогу с красной каймой, и спросил, не для спектакля ли.

– Нет, – сказал я.

– Тогда зря, – сказал он. – В нём холодно.

Я не обиделся. Я решил, что он ничего не понимает.

Дома я не показался никому. Спрятал плащ под тунику и стал ждать ночи. Потом велел слугам убрать из моей комнаты кровать с пуховым тюфяком и принести три доски. Те перегля-

нулись, но принесли: к этому времени в доме привыкли, что мальчик, которого Адриан зовёт Правдивейшим, иногда просит странного.

Я лёг. Доски были жёсткими, и ночью я не спал. Я лежал, смотрел в потолок и чувствовал, что становлюсь лучше. Каждый час казался мне подвигом.

Утром, в шесть, пришла мать.

Она остановилась на пороге. Я лежал на досках, закутанный в плащ, и сердито смотрел в потолок, чтобы она не подумала, что мне не по себе. Она посмотрела на плащ, на доски, на пустое место, где стояла моя кровать. Лицо у неё не изменилось.

– Ты не выспался, – сказала она.

– Я выспался.

– Нет.

– Мама, философ не должен быть изнежен.

– Я знаю, – сказала она. – Позавтракай, пожалуйста.

Она ушла. Я остался, довольный и несчастный одновременно, как бывают довольны и несчастны люди, которых не заметили в самый важный момент.

* * *

Это длилось месяц.

Я привык. Я научился лежать так, чтобы доска не давила под лопатку, научился надевать плащ быстро, чтобы не мёрзнуть. Я гордился. Гордость, надо сказать, согревала лучше плаща.

Только кашель не проходил. Он появился на третьей неделе, сухой, тихий, и я не обращал на него внимания. Философ не обращает внимания. Я ходил на уроки, читал вслух, спорил с Диогнетом, и за столом у деда тоже кашлял, прикрывая рот ладонью. Дед ничего не говорил. Он был старик, знавший, когда говорить, а когда нет. Он только смотрел на мою тунику, торчащую из-под плаща, и вздыхал.

Однажды вечером ко мне пришёл Диогнет.

Я лежал и читал. Он сел на пол рядом, отодвинув мои сандалии, и долго рассматривал доски.

– Это ты сам придумал? – спросил он.

– Вы сказали, что...

– Я сказал, что философу стоит быть готовым к неудобству. Я не сказал, что неудобство надо коллекционировать.

Я растерялся.

– Но Антисфен...

– Антисфен жил, как жил, – сказал Диогнет. – А ты живёшь, как Антисфен, чтобы все видели, что ты живёшь, как Антисфен. Это разные вещи. Первое называется философией. Второе называется театром. И то, и другое можно играть, но зрителю лучше знать, на что он смотрит.

– Нет зрителей.

– Есть, – сказал он. – Ты сам. И мама, которая ходит мимо двери и слушает, как ты кашляешь.

Я замолчал. Он поднялся, отряхнул колени.

– Я не говорю, что ты не прав, – сказал он, уже с порога. – Я говорю: проверь, кому ты служишь, доске или себе.

Он ушёл. Я долго лежал, глядя на трещину в потолке. В тот вечер кашель был сильнее обычного.

* * *

На следующее утро дед позвал меня в сад.

Он был невысокий, сутулый, с большими ладонями, которые всю жизнь держали то меч, то судейский жезл, а к старости перешли на садовые ножи. Три раза консул, префект города,

друг двух императоров, он любил только одно занятие: прививать груши. Я знал это и всё равно удивился, когда он, не говоря ни слова, протянул мне нож и кусок мягкой коры.

– Держи, – сказал он. – Дикий побег срезаешь косо. Вот так.

Я срезал. Получилось криво. Он взял, поправил, показал снова. Потом привязал побег к стволу полоской лыка, и я заметил, что завязал он не туго, оставив между лыком и корой щель в палец шириной.

– Почему не затянуть? – спросил я.

– Потому что он будет расти.

Я кивнул, как кивают, когда не хотят показать, что ничего не поняли. Дед посмотрел на мой плащ, торчавший из-под туники, на круги под глазами, и ничего об этом не сказал. Он вообще не любил говорить о том, что видно. Только вытер руки о фартук и вернулся к дереву.

– Деревья, – сказал он наконец, – не слушают объяснений. Им нужно, чтобы кто-нибудь знал, сколько воды и сколько места.

Больше в то утро он не сказал ничего. Но в тот вечер, вернувшись домой, я не стал расстилать доски сразу, а посидел немного у окна. И кашлял тише.

* * *

Ночью я проснулся от того, что мне тепло.

Не сразу понял, где я. Доски были под спиной, плащ на плечах, но поверх плаща лежало что-то лёгкое и мягкое. Я открыл глаза. Рядом, в свете маленькой лампы, сидела мать. Она расстилала на досках козью шкуру, осторожно, чтобы не разбудить. Просто положила, и теперь поправляла край у моего плеча, как поправляют одеяло на спящем ребёнке.

Я мог притвориться, что сплю. Я хотел. Но кашель выдал меня.

– Мама, – сказал я. – Не надо.

– Не надо что?

– Жалеть меня.

– Я не жалею, – сказала она. – Я укрываю.

– Это одно и то же.

– Нет, – сказала она. Помолчала. – Жалеют тех, кого считают слабыми. А укрывают тех, кого любят. Ты можешь лежать на своих досках, сколько тебе нужно. Я не стану тебя переучивать. Но не проси меня смотреть, как ты кашляешь, и делать вид, что ничего не слышу.

Я хотел сказать, что она ничего не понимает. Что в философии нет места мягким вещам. Что Антисфен, и Диоген, и сам Сократ ходили босиком по афинским камням.

– Сократ был женат, – сказала мать. – У него была жена, которая приносила ему тёплое. Об этом тоже написано в книгах.

Я замолчал. Я не знал, что об этом написано.

– Я прочла, – сказала она. – Пока ты был в школе. Хочешь знать, что я поняла?

Я кивнул.

– Что я не философ. А ты ещё не знаешь, кто ты.

Она встала, поцеловала меня в лоб, сухо, как целуют человека, который уже не совсем ребёнок, и вышла. Шкура осталась. Я лежал под ней и чувствовал, как по телу идёт тепло. Это было несправедливо. Это было очень хорошо.

* * *

Я спал на досках ещё много лет. С козьей шкурой. Мать никогда больше не заходила ночью, но по утрам, когда я выходил, шкура всегда была чуть поправлена.

Диогнет вскоре уехал. Он не простился, оставил записку на греческом: «Рисуй хотя бы иногда. Плащ тебе идёт». Я долго носил эту записку в складках тоги. Потом потерял. Но слова помню.

Правдивейшим меня прозвали раньше, чем я надел плащ, и не за философию, а за грибы.

Мне было лет восемь. Дед позвал меня к столу, где сидели гости, и среди них человек с короткой курчавой бородой и тяжёлым взглядом. Мне сказали, что это император. Он оглядел меня, как оглядывают лошадь.

– Скажи, мальчик, – спросил он, – как тебе грибы?

На блюде лежали грибы, жирные, в соусе. Император, по слухам, их любил. Все смотрели на меня.

– Невкусные, – сказал я.

За столом стало тихо. Дед побледнел. Кто-то поспешил объяснить, что мальчик ещё не умеет оценить редкое блюдо.

Адриан не смеялся. Он подождал, потом отломил кусочек, пожевал и так же серьёзно сказал:

– Он прав. Повар сегодня был пьян.

За столом выдохнули. Адриан откинулся на ложе и ещё раз посмотрел на меня тем взглядом, в котором было больше любопытства, чем тепла.

– Мы тебя запомним, Правдивейший, – сказал он.

Так я получил имя. Это была игра слов: наша фамилия Верус, а «веррисимус» значит «правдивейший». Император шутил. Мне потом много лет приходилось соответствовать шутке.

Мать, когда ей рассказали, сказала только:

– Хорошо. Но в следующий раз скажи то же самое тише.

Глава 3. Похвала пыли

Фронтон лежал на ложе с забинтованной ногой и ел виноград.

Это была первая картина, которую я запомнил, придя к нему на урок. Я принёс тетрадь, чернильницу и три дня подготовки, и в голове у меня была торжественная фраза о том, как прекрасна речь, украшающая государство. Я успел произнести половину.

– Подожди, – сказал он. – Сядь. Ты когда-нибудь видел пыль?

– Простите?

– Обыкновенную пыль. На дороге, на подоконнике, на сандалиях. Видел?

– Видел.

– Тогда скажи, что ты о ней думаешь. Только честно.

Я задумался. Передо мной был самый знаменитый оратор Рима, друг императорского дома, человек, которого сенаторы приглашали на суд, чтобы выиграть дело одним словом. Он лежал с больной ногой, жевал виноградину и смотрел на меня тёмными африканскими глазами, в которых плясали искры. Родом он был из Цирты, из Нумидии, и в речи у него до сих пор проскальзывали чужие закругления гласных.

– Пыль мешает, – сказал я.

– Ещё.

– Она грязная. Она оседает на книгах.

– Ещё.

– Она напоминает, что всё рассыплется.

Фронтон выплюнул косточку в чашу.

– Вот это уже что-то. Домашнее задание: написать похвалу пыли. Две страницы. К следующему приходу. И дым тоже хвали, если останется время.

– Зачем?

– Затем, что хвалить достойное любой дурак умеет, – сказал он. – А ты попробуй похвалить то, что никто не хвалит, и заставить слушателя согласиться. Тогда я скажу, что ты знаешь, как устроено слово.

* * *

Я хвалил пыль три вечера.

Это было хуже любой философии. Я писал, перечёркивал, переписывал. Пыль оказывалась скучной, смешной, ничтожной, и никак не хотела становиться достойной. Я дошёл до того, что стал ходить по дому и разглядывать подоконники, пока мать не спросила, не заболел ли я.

На четвёртый день я написал. Не знаю как. Просто представил, что пыль была когда-то горой, и храмом, и телом человека, которого любили. Что всё, что мы видим, когда-нибудь осядет на чью-нибудь сандалию, и нас смахнут рукавом. Писал серьёзно и, кажется, красиво.

Фронтон выслушал, лёжа с закрытыми глазами. Когда я закончил, он помолчал.

– Недурно, – сказал он. – Только ты не похвалил пыль. Ты погрустил над ней. Это разные вещи. Грусть в пыли каждому понятна. А вот радость...

– Радость?

– Конечно. Пыль забирается всюду, не спросив разрешения. Попробуй придумать, чему она радуется.

– Но она же...

– Не думай, что она, – перебил он. – Думай, что ты.

Я сидел и смотрел на него. Потом рассмеялся. Это вышло само: вдруг показалось смешным, что я, будущий император, сижу и придумываю, чему радуется пыль.

– Вот, – сказал Фронтон. – Это первое честное чувство за три дня. Теперь пиши.

Я написал. На этот раз получилось смешно: пыль, которая летит в глаза консулам, пробирается под тоги сенаторов и осядет на самом роскошном алтаре, не заплатив ни асса. Фронтон слушал, и плечи у него тряслись, а нога подёргивалась на ложе так, что чаша с виноградом поехала по столу.

– Отлично, – выдохнул он, вытирая слёзы. – Ты понимаешь, мальчик? Вот что значит слово. Не украшение. Рычаг. Он не поднимает груз, он показывает, где его брать.

* * *

Я полюбил его. Это можно сказать просто: полюбил. Не как отца, потому что отец у меня был мёртвый, а дед был дед. Не как брата, потому что у меня не было братьев. Скорее как человека, который открыл окно в комнате, где я жил.

Мы писали друг другу письма. Теперь, на Дунае, когда я читаю в памяти обрывки этих писем, мне становится смешно и больно одновременно.

«Привет, мой дорогой учитель, – писал я. – Мы здоровы. Я мало спал из-за кашля, который, кажется, уже прошёл. Читал Целия в полях, потом ужинали. Мать просила передать вам привет. Если можно, пришлите мне что-нибудь из вашего: хоть одну страницу. Я без вас пропадаю».

Он отвечал длинно, шумно, с шутками на трёх языках. Жаловался на подагру, на ногу, на плечо, на шею, на жену, которая запретила ему ночные чтения. Хвалил меня так щедро, что я краснел, читая при свете лампы. Называл «моим дорогим Марком», «моим сладчайшим», «лучшим из учеников, потому что единственным». Писал, что я самый одарённый из всех, кого он учил, и что, если боги хоть немного справедливы, они отдадут мне не только красноречие, но и время, чтобы им пользоваться.

Я хранил эти письма в сундуке с вещами, которые не показывают никому. Фаустина однажды нашла их и прочла, лёжа на кровати, с лицом, которого я не мог понять.

– Он тебя любит, – сказала она.

– Конечно. Он мой учитель.

– Нет, – сказала она. – Не как учитель. Как человек, которому повезло.

Я не знал, что ответить. Она положила письма назад и больше не говорила об этом.

* * *

В двадцать пять лет я сделал то, что сейчас вспоминаю с чувством вины.

Мне попала в руки книга. Не философская, а странная: короткие беседы Аристона, давнего ученика Зенона, о том, как жить. Я читал её в Лории, у окна, в полутёмной комнате. На третьей странице что-то во мне щёлкнуло, как замок.

Речь шла о том, что красноречие не делает человека лучше. Можно говорить, как Демосфен, и жить, как свинья. Можно подбирать слова и не знать, что они значат. Можно хвалить пыль так, что слушатели заплачут, и не заметить, что в соседней комнате умирает мать.

Я вспомнил свои письма. Свои речи. Эту радость, с которой я лепил фразы, как женщины лепят лепёшки. И испугался. Я понял, что восемь лет учился делать так, чтобы слова звучали красиво, и ни разу не спросил, верны ли они.

В ту же ночь я написал Фронтону.

Это было самое трудное письмо в моей жизни. Я переписывал его шесть раз. В последний вариант вошли такие слова: «Я читал Аристона и чувствую, что должен выбрать. Я не хочу отказываться от слова, которое вы мне дали. Но, кажется, я не могу больше заниматься только им. Простите меня, если можете. Я не уйду от вас. Я просто пойду дальше».

Запечатав письмо, я долго сидел, глядя на воск. Потом отправил.

Ответ пришёл через неделю.

* * *

Он был длинный. Фронтон писал, что болен, что нога особенно беспокоит его после моего письма, что левая рука не слушается, а правая слушается слишком хорошо и поэтому он, вопреки врачам, продиктует мне всё, что думает.

Он писал, что красноречие не враг философии, а её слуга. Что Аристон был великий человек, но он, Фронтон, видел много философов, которые говорили на ужинах так, что хозяева выставляли их за дверь. Что мысль, не нашедшая слова, умирает у порога. Что я, цезарь, не имею права быть неумелым. Что боги дали мне ум и слух и было бы расточительством оставить слух без дела.

Писал он страниц шесть. Я читал, и сердце у меня стучало всё сильнее: не от обиды, а от стыда. Он был прав почти во всём. И всё же я знал, что не вернусь.

В самом конце, на последней странице, почерк стал мельче и неровнее.

«Но я тебя понимаю, – написал он. – Я сам когда-то выбирал между словом и жизнью и выбрал слово. Не знаю, правильно ли. Теперь вижу, как ты выбираешь жизнь, и не могу злиться. Я сержусь, это да. Но сержусь не на тебя, а на то, что ты оказался прав, а я нет. Приходи ужинать в среду. Жена приготовит рыбу. Принеси что-нибудь Аристоново, я прочту. Только не читай мне вслух: у тебя от философии голос становится занудным».

Я прочитал последнюю строчку и рассмеялся. Потом заплакал. Потом пошёл ужинать.

* * *

Рыба была сухая.

Жена Фронтона, Грация, женщина строгая, с лицом императрицы и руками прачки, поставила блюдо на стол и сказала, что рыба сегодня решила держаться философских взглядов. Фронтон закашлялся в салфетку. Мы сидели втроём за столом, ели сухую рыбу, и он, не поднимая глаз от тарелки, спросил:

– Ты прочёл Аристона до конца?

– Да.

– И что ты вынес?

Я задумался.

– Что нельзя полагаться на слова.

– А на что можно?

– Не знаю.

– Отлично, – сказал Фронтон. – Это первый разумный ответ, который я от тебя слышу. Теперь можешь начинать.

Он положил в рот кусок рыбы, поморщился и добавил:

– Только пиши мне. Хотя бы про погоду. Ты не представляешь, как скучны люди, которые только и делают, что отвечают на мои письма.

Я писал ему почти тридцать лет. Про погоду. Про кашель. Про детей, про войны, про книги. Он умер раньше меня, и я до сих пор иногда ловлю себя на том, что в голове складываются фразы, которые ему бы понравились. Длинные, с хорошим глаголом в конце.

Я обещал ему не делать их философскими. Не всегда получается.

Глава 4. Учитель не ходит к ученику

Гонец вернулся без Аполлония.

Это случилось в год, когда мне исполнилось двадцать два. Антонин, мой приёмный отец, решил, что цезарю нужен настоящий философ. Не болтун из тех, что толпятся на форуме, а человек, у которого слово и жизнь сидят за одним столом. Ему назвали Аполлония из Халкедона: стоик, старый, строгий, живущий скромно, ничего не берущий лишнего. Антонин послал за ним, как посылают за врачом: быстро, учтиво, с лошадьми.

Гонец вернулся на третий день. Пыльный, мрачный, с письмом, которое держал двумя пальцами, как дохлую мышь.

– Он не придёт, – сказал гонец.

– Заболел? – спросил Антонин.

– Нет, цезарь. Он здоров. Он сказал: учитель не ходит к ученику, ученик ходит к учителю.

Мы сидели в малой столовой: Антонин, я, пара друзей, перед нами остывала рыба. Все ждали грозы. Император не любил, когда ему отказывали. Но он любил, когда с ним говорили прямо.

Антонин взял письмо, повертел и вдруг рассмеялся. Тихо, одним уголком рта.

– Вот это да, – сказал он. – Значит, ему проще приехать из Халкедона в Рим, чем дойти от своего дома до моего?

Все засмеялись. Только я остался серьёзным. Я думал о том, что человек, который отказывается идти к императору, видимо, знает, что делает. И что мне придётся идти к нему.

* * *

Он жил на Авентине, в двух комнатах над красильной мастерской. Пахло краской, шерстью и варёной капустой. Лестница была крутая, ступеньки скрипели, на втором пролёте я наступил в лужу неизвестного происхождения.

Я пришёл без свиты. Антонин настаивал, чтобы со мной шли двое слуг, но я сказал, что у философа нечего делать со слугами. На деле мне просто было стыдно.

Аполлоний открыл сам. Невысокий, жилистый, лет шестидесяти, с короткой седой бородой, в простом сером хитоне, подпоясанном верёвкой. Он оглядел меня с головы до ног, как оглядывают незнакомый инструмент.

– Цезарь, – сказал он.

– Учитель.

– Садись.

Он показал на пол. Единственная скамья была занята свитками.

Я сел. На полу, на циновке, в тоге с красной каймой, посреди чужой комнаты. Рядом сидел кот и смотрел на меня с таким презрением, какое бывает только у котов и философов.

– Рассказывай, – сказал Аполлоний, садясь напротив.

– Что?

– Что ты знаешь.

Я начал. Я говорил о Зеноне и Хрисиппе, об Аристоне, о Музонии. Говорил красиво, длинными периодами, как учил Фронтон. Использовал слова, которые сам не очень понимал, и вставлял греческие цитаты. Минут десять я чувствовал себя блестяще.

Аполлоний слушал, скрестив руки. Потом спросил:

– У тебя есть отец?

– Приёмный. Антонин.

– Он здоров?

– Да, слава богам.

– А если завтра умрёт?

Я замялся. Это был не тот вопрос, который задают на уроках.

– Я буду скорбеть.

– Это естественно. А что ещё?

– Я постараюсь не потерять достоинства.

– Достоинства, – сказал он. – А если он не умрёт, а предаст тебя?

– Я...

– А если ты сам предашь кого-нибудь? А если упадёшь с лошади и сломаешь ногу? А если жена скажет, что тебя разлюбила?

Я молчал. Он смотрел на меня без насмешки.

– Ты говоришь о Зеноне, как о городе, в котором бывал проездом, – сказал он. – А я спрашиваю, где ты живёшь.

* * *

Это был первый урок. Следующий был такой же.

Он никогда не говорил, как надо жить. Он спрашивал, и когда я отвечал красиво, снова спрашивал, пока красота не кончалась. Я приходил на Авентин три раза в неделю, садился на пол рядом с котом и каждый раз чувствовал, что меня сдирают по слою, как кору с дерева.

Он ничего у меня не брал. Ни денег, ни подарков, ни лести. Когда император через слуг прислал ему кошель, Аполлоний принял его, поблагодарил и положил на подоконник. Кошель пролежал там неделю. Потом Аполлоний отдал его соседке, у которой заболел ребёнок. Мне он рассказал об этом без гордости, как рассказывают о стирке.

– Почему не отказались? – спросил я.

– От чего? – не понял он.

– От денег. Это же император.

– Император дал, – сказал Аполлоний. – Я взял. Отказаться значило бы показать, что я лучше императора. А я не лучше. Просто мне это не нужно.

Он помолчал.

– Запомни одну вещь, цезарь. Брать не стыдно. Стыдно, когда берёшь и тебя берут.

Я долго не понимал, что он имел в виду. Потом начал понимать.

* * *

Месяца через четыре я поссорился с Рустиком.

Рустик, Квинт Юний Рустик, был старше меня лет на двадцать и жил в нашем кругу как вечный упрёк: сухой, прямой, с быстрыми глазами и манерой замечать то, чего никто не хотел показывать. Он был стоик не по книгам, а по привычке. Говорил мало, и каждое слово у него вылетало, как стрела.

Однажды я прочитал при нём речь, которую писал неделю. Хорошую, как мне казалось: с красивыми оборотами, с пафосом, с хорошим финалом. Я ждал похвалы. В комнате сидело человек шесть: друзья, придворные. Все кивали.

Рустик кивнул последним.

– Красиво, – сказал он.

Я почувствовал, как внутри что-то согрелось.

– Но это не ты, – добавил он.

– Что?

– Ты не так думаешь. Ты придумал, как надо думать, и написал, как будто думаешь. Это называется «для вида».

В комнате стало тихо. Кто-то отвёл глаза. Я почувствовал, как лицо наливается жаром.

– Вы много на себя берёте, – сказал я.

– Я говорю то, что вижу.

– А я цезарь.

Это была глупость. Я понял это в тот же миг, как произнёс. Но слово вылетело, и вернуть его было нельзя.

Рустик не изменился в лице. Он только поклонился, коротко, как кланяются слуги, и сказал:

– Конечно, цезарь.

И вышел.

* * *

Я не спал всю ночь.

Я лежал на досках, на козьей шкуре, и злился. Злился на Рустика, который посмел. На себя, который не сдержался. На всех, кто видел. Потом злость кончилась, остался стыд, и это было хуже.

Утром я пошёл к Аполлонию. Он сидел на полу, чинил сандалию, и кот спал у него на коленях.

– Ты не в духе, – сказал он, не поднимая головы.

– Я поссорился с Рустиком.

– Из-за чего?

Я рассказал. Он слушал, продолжая чинить. Когда я закончил, он вытащил иглу и спросил:

– Ты хочешь, чтобы я сказал, что ты прав?

– Нет.

– Тогда зачем пришёл?

– Не знаю.

– Знаешь, – сказал он. – Ты пришёл узнать, как исправить. Это уже хорошо. Теперь скажи, что именно ты сломал.

Я задумался.

– Его доверие.

– Нет. Доверие у него осталось. Он потому и сказал тебе правду, что доверял. Ты сломал другое.

– Что?

– Свою уверенность, что ты можешь слушать, – сказал Аполлоний. – Ты думал, что готов принимать правду. А оказалось, что готов принимать её только в красивой обёртке.

Я промолчал. Он вернулся к сандалии.

– Иди к нему, – сказал он. – Сегодня. Не завтра. И скажи ему не то, что ты хочешь, чтобы он услышал, а то, что есть.

* * *

Рустик жил недалеко от Форума, в небольшом доме с садом, где росли оливы и один кривой кипарис. Слуга сказал, что хозяин в саду. Я пошёл.

Он стоял у кипариса и обрезал сухие ветки. Спиной ко мне. Не обернулся.

– Я пришёл извиниться, – сказал я.

– За что?

– За то, что сказал: «Я цезарь». Это было глупо. И за то, что обиделся. Потому что вы были правы.

Рустик положил ножницы. Повернулся. Лицо у него было такое же, как всегда: прямое, спокойное, без радости и без обиды.

– Я знал, что ты придёшь, – сказал он.

– Откуда?

– Если бы ты не пришёл, ты бы не был тем, кого я хотел учить.

Он вытер руки и вдруг сказал, как будто что-то решил:

– Подожди здесь.

Он ушёл в дом. Я стоял под кипарисом и думал, что мне, наверное, придётся ждать долго. Но он вернулся через минуту и держал в руках свёрток, перевязанный шнуром.

– Это моя копия, – сказал он. – Записи бесед одного человека. Эпиктета. Раба, потом вольноотпущенника, потом философа. Его ученик, Арриан, записал за ним то, что тот говорил. Я читал это двадцать лет. Теперь прочти ты.

Я взял. Свёрток был тяжёлый и тёплый от его рук.

– Читай и не болтай, – сказал Рустик. – Ты слишком любишь говорить о том, что прочитал. Лучше сначала поживи с этим.

Он отвернулся и снова взял ножницы. Это значило, что разговор окончен.

Я пошёл домой, держа свёрток под тогой, как украденный. По дороге мне казалось, что все на улице видят, что я несу, и знают, что у меня внутри.

* * *

Я читал всю ночь.

Это не было похоже на то, что я читал раньше. Не было красивых периодов, не было риторических вопросов. Был грубоватый, прямой голос, говоривший со мной, как говорят с равным на рынке.

«Одни вещи зависят от нас, другие не зависят. Зависят: мнение, стремление, желание, нежелание, словом всё, что наше дело».

Я прочитал это три раза. Потом отложил свиток, сел на доски и посмотрел на лампу. Мне казалось, что кто-то взял мою жизнь, как тетрадь, и перевернул на чистую страницу.

Я вспомнил Аполлония и его вопрос, где я живу. Вспомнил Рустика и его «для вида». Вспомнил Диогнета с его плащом и театром. Всё это вдруг сложилось в одну линию, которая вела к человеку, которого я никогда не видел и который давно умер. К бывшему рабу, который сидел в Никополе и говорил ученикам, что они свободны, если не цепляются за то, что у них могут отнять.

К рассвету я дочитал до конца. Потом лёг, не раздеваясь, и впервые за много месяцев уснул без кашля.

Через день я пришёл к Аполлонию.

– Ты читал? – спросил он, едва я вошёл.

– Да.

– Что скажешь?

Я открыл рот. Всё, что я хотел сказать, было красиво. Я закрыл рот.

Аполлоний улыбнулся. Это случалось редко.

– Вот теперь можно начинать, – сказал он. – Кот, подвинься.

Глава 5. Душенька

Император умирал в Байях, у моря, и просил, чтобы его убили.

Это была уже весна, потом лето. Я не очень понимал, как это бывает: человек, которого весь мир звал богом, лежит в тёплой комнате с видом на залив и умоляет слугу принести кин-

жал. Я узнал об этом позже, из разговоров. Тогда мне только сказали, что император болен, что болезнь затянулась, и что он, кажется, хочет меня видеть.

Меня привезли в сумерках.

Вилла стояла на скале, белая, с колоннами, с садом, спускавшимся к воде. Внутри пахло лекарствами, горячим воском и солью. В коридорах слуги ходили на цыпочках и разговаривали шёпотом, как ходят и говорят в домах, где ждут чьей-то смерти и не хотят оказаться виноватыми в её приближении.

Меня провели в небольшую комнату с одним окном. На ложе, под тонким одеялом, лежал человек. Я не узнал его.

Когда-то это был красивый старик, широкоплечий, с короткой курчавой бородой, с глазами, в которых помещалась вся империя. Теперь передо мной лежала распухшая жёлтая фигура. Ноги под одеялом выглядели чужими, как будто принадлежали другому человеку. Дыхание было тяжёлым, влажным. Но глаза остались прежними.

– А, Правдивейший, – сказал он. – Подойди. Я тебя не съем.

* * *

Я подошёл и встал у ложа.

– Садись, – сказал Адриан. – Нет, не туда. Туда, где я тебя вижу.

Я сел.

– Знаешь, что у меня болит? – спросил он.

– Нет, цезарь.

– Всё. И знаешь, что хуже всего? Врачи говорят, что это не смертельно. Что я проживу ещё месяцы. Я спросил одного, не жаль ли ему меня. Он ответил, что жалость не лекарство. Я его выгнал, а потом подумал, что он прав.

Он замолчал. Дыхание у него клокотало.

– Я просил людей меня убить, – сказал он спокойно. – Мой слуга отказался. Врач отказался. Я приказывал, но не смог заставить. А твоя семья как, привыкла отказывать императорам?

Я растерялся. Мне казалось, что он проверяет меня, и я решил отвечать прямо.

– Не знаю, цезарь. Но мне кажется, что нельзя приказать другому убить.

– Почему?

– Потому что тогда он будет убийцей, а вы будете только больным.

Адриан посмотрел на меня долго.

– Это умно, – сказал он. – Или хитро. Или просто правда. У тебя иногда разницу не заметишь.

Он повернул голову к окну.

– Знаешь, что я сочинил на днях? Ночью, пока никто не слышал. Скажи, как тебе. Только честно, как тогда про грибы.

Он прочёл тихо, почти шёпотом, на латыни, короткими строчками:

Душенька моя, бродяжка, нежная,

Гостья и подруга тела,

В какие места ты теперь уходишь,

Бледная, голая, застывшая,

И уже не будешь шутить, как прежде?

Я слушал. Море шумело внизу. Я не знал, что сказать.

– Тебе не нравится, – сказал Адриан.

– Нравится.

– Тогда что?

– Мне кажется, вы называете её «душенькой», потому что боитесь назвать иначе.

Он усмехнулся. Потом вдруг рассмеялся, хрипло, с кашлем, так, что слуга в дверях заглянул, испугавшись.

– Вот за это, – сказал Адриан, – за то, что ты не умеешь льстить умирающим, я тебя и выбрал. Не для себя. Для него.

– Для кого?

– Для Антонина. Он теперь мой сын. А ты будешь его сыном. Так я решил. Не спрашивай, не бойся и не надейся, что сможешь отказаться.

Я смотрел на него. Он лежал, обессиленный, жёлтый, и вдруг показался мне очень старым и очень одиноким.

– Я не хочу быть цезарем, – сказал я.

– Знаю, – сказал он. – Поэтому ты и подойдёшь.

* * *

Потом я узнал, как это было.

В начале года умер Элий Цезарь, которого Адриан усыновил и назначил преемником. Красивый, хрупкий, больной, он слёг и не встал. Адриану пришлось искать нового. Он перебрал всех сенаторов, одного за другим, и ни один его не устроил. Слишком умный, слишком жадный, слишком любит себя. Он остановился на Антонине, пятидесятиоднолетнем человеке, которого никто не воспринимал всерьёз: добром, спокойном, не ищущем славы.

Но у Антонина не было сына. У него росла дочь, Фаустина, а двое сыновей умерли в детстве. Адриан поставил условие: Антонин усыновит двух мальчиков. Одного, сына Элия, маленького Люция. Другого, меня.

Мне сказали это в день, когда вернулся домой.

Мать не плакала. Она сидела за столом, с очень прямой спиной, и слушала, как дед, оглушённый и растерянный, пытался объяснить, что со мной будет. Я перееду в дом Антонина. Буду называться по-другому. Мой отец, которого я не помнил, потеряет своё имя на моих документах.

– А мама? – спросил я.

– Мама останется здесь, – сказал дед.

– Я хочу, чтобы мама жила со мной.

– Нельзя, Марк. Это не так делается.

Я посмотрел на мать. Она всё ещё молчала. Лицо у неё было тёплое и очень усталое.

– Я не хочу, – сказал я.

– Знаю, – сказала она наконец. – Я тоже не хочу. Но это не наше решение.

Я вдруг понял, что она говорит это не мне, а себе, пытаясь привыкнуть. Мне стало стыдно. Я капризничал, как мальчик, а она сидела и молча теряла сына.

Я встал, подошёл и положил голову ей на колени. Она погладила меня по волосам.

– Ты будешь хорошим, – сказала она. – Не потому, что тебя усыновил император. А потому, что ты такой.

Я не мог ничего ответить.

* * *

В ту ночь я спал на досках в последний раз.

Утром слуги упаковали вещи. Было немного: несколько свитков, плащ, козья шкура. Я хотел оставить шкуру матери, но та сказала:

– Возьми. Там, куда ты едешь, тебе будет не хватать тёплого.

Я взял. Я забирал не шкуру, а то, что она значила.

Дом Антонина на Палатине был огромным. Колонны, фрески, бесчисленные комнаты, слуги в белых туниках. Меня поселили в просторной спальне с высоким потолком и огромной кроватью, где можно было потеряться. Вещи расставили так, как положено цезарю.

Я тайком расстелил шкуру на полу у стены и лёг.

Утром меня нашёл слуга. Вскрикнул, испугался, убежал. Через десять минут в комнату вошёл Антонин.

Он не изменился в лице. Посмотрел на шкуру, на меня, на великолепную кровать, к которой я не прикасался.

– Тебе не нравится кровать? – спросил он.

– Я привык спать на жёстком.

– Хорошо, – сказал он. – Но слугам лучше не знать. Они будут говорить, что цезарь чудит. А чудачества цезаря обходятся дорого: каждое надо объяснить, оправдать и оплатить. Ложись на кровать, когда они смотрят. Остальное время твоё.

Он улыбнулся мне очень спокойно и ушёл.

Я остался стоять. Потом засмеялся. Впервые за эти дни. Это было так просто и так умно, что я не знал, злиться или благодарить. Он не стал запрещать мне то, что я любил. Он только научил, как с этим жить в доме, где тебя видят.

* * *

Адриан умер десятого июля.

Мне сказали утром. Я пошёл в комнату, где стоял Антонин. Он сидел на краю ложа, ссутулившись, с красными глазами. Он был старше меня на тридцать пять лет, но в тот момент казался младше. Он всю ночь просидел у тела человека, которого любил, и который так и не доверился ему при жизни.

Сенат не хотел объявлять Адриана богом.

Об этом я узнал позже. Адриан сделал много, чтобы его возненавидели: казнил четырёх консуляров, обидел половину римской знати, вёл себя как человек, которому никто не нужен. Сенаторы тихо перешёптывались: пусть лежит, как все. Надо отменить его указы. Забыть.

Антонин встал перед ними, пожилой, спокойный, в простой тоге, и заявил, что если они не признают его отца богом, он отказывается от власти. Тихо. Без угроз. Сказал, что не может править людьми, которые не хотят чтить умерших.

Они дрогнули. Они согласились.

Рим дал ему за это имя. Пий, благочестивый. Я стоял в зале и смотрел, как он принимает это имя, и думал: он сделал это не ради Адриана, который его мучил. Он сделал это ради того, чтобы остаться человеком в мире, где так легко перестать им быть.

Много лет спустя, на Дунае, я записал об Антонине столько, сколько не успел сказать ему при жизни.

* * *

Через неделю после похорон я лежал в большой постели, как положено, потому что слуги смотрели, и не мог уснуть.

Дверь тихо открылась. Вошёл Антонин. Без свиты, в одной тунике, со свечой.

– Не спишь, – сказал он.

– Нет.

Он сел на край кровати. Он выглядел очень уставшим.

– Я не хотел этого, – сказал он. – Не хотел власти. Я хотел жить в Лории, выращивать виноград, ходить по утрам в бани и ругаться с управляющим. Я не просил его выбирать меня.

– Но вы согласились.

– Согласился. Потому что некому было больше. А потом согласился на тебя. – Он помолчал. – Вот что я хочу сказать, Марк. Тебе будет трудно. Тебя будут ломать, как меня. Застав-

лять, уговаривать, обольщать. А ты можешь делать то же, что я: служить, не желая. Это возможно. Я проверил.

Я смотрел на него. Лицо у него было доброе, усталое, с мелкими морщинами у глаз. Он не был красив. Он был похож на человека, который много лет носил тяжёлый груз и научился идти ровно.

– Я постараюсь, – сказал я.

– Знаю, – сказал он. – Ты постараешься. Это всё, о чём я прошу. Остальное потом.

Он встал и пошёл к двери. На пороге обернулся и добавил, чуть улыбнувшись:

– И не бойся, что слуги видят, как ты спишь на полу. Если они захотят объяснить это как-нибудь по-своему, это будет мой труд, а не твой.

Он ушёл. Свеча осталась на столике и догорала.

Я лежал в огромной постели, которая мне не нравилась, и глядел, как огонёк дрожит на потолке. Потом осторожно слез на пол, расстелил шкуру и лёг на неё. Впервые за много дней мне стало спокойно.

Глава 6. Невеста

Мне было семнадцать, ей восемь, и она сразу сказала, что я слишком худой.

Это произошло в атриуме Антонина, в день, когда меня привели знакомиться с семьёй. Слуги выстроились вдоль стен, мать девочки, жена императора, которую тоже звали Фаустиной, стояла в синем платье, красивая и ленивая, как кошка на тёплом камне. Рядом с ней, на мраморной скамье, болтая ногами, сидела девочка с острым подбородком и тёмными, очень внимательными глазами.

– Это он? – спросила девочка громко, не глядя на мать.

– Фаустина, – сказала мать.

– Он очень худой.

– Фаустина.

– И у него уши торчат.

Я стоял, не зная, куда деть руки. Антонин, стоявший рядом, кашлянул, и я понял, что он едва удерживается от смеха.

– Это твой будущий муж, – сказал он. – Так решили.

– Кто?

– Все.

Девочка посмотрела на меня, потом на отца, потом снова на меня. Подумала.

– Ладно, – сказала она. – Но пусть ест побольше. Мне не нравится, когда люди выглядят как будто сейчас упадут.

Я не упал. Но чуть позже, когда взрослые ушли, она соскочила со скамьи, подошла ко мне, обошла кругом, как обходят статую, и вдруг спросила:

– А правда, что ты спишь на полу?

– Откуда ты знаешь?

– Слуги говорят.

– Это временно.

– Это глупо, – сказала она. – Но интересно. Покажешь?

Я так растерялся, что показал. В тот же день. Привёл её в свою комнату, где у стены лежала козья шкура, и она потрогала её ладонью, села и посидела немного, глядя в потолок.

– Жёстко, – сказала она. – Но у тебя хоть вид из окна.

Потом ушла, оставив меня в странном состоянии, как человека, которого только что посетила буря.

* * *

Теперь я думаю, что в тот день решилось многое, хотя ни она, ни я этого не знали.

Мне нужно сказать, что сначала меня обручили не с ней. Адриан в последние месяцы жизни устроил так, что я должен был жениться на Цейонии Фабии, дочери Элия Цезаря, сестре маленького Люция. Это было разумно: две семьи соединялись, и всё оставалось в одних руках. Но Антонин, став императором, расторг помолвку. Не знаю, почему. Он сказал только, что девочка слишком мала, а потом объявил, что я женюсь на его дочери.

Сначала я решил, что это расчёт. Позже понял, что нет. Просто он хотел, чтобы рядом со мной была его кровь.

Фаустине в тот год исполнилось восемь, но выглядела она старше: высокая, стройная, быстрая в движениях. Она любила лошадей, не любила, когда её учили, и умела так посмотреть на учителя, что тот забывал, что хотел сказать. Мать боялась, что она вырастет невыносимой. Отец радовался, что она вырастет собой.

Мы стали видеться каждый день.

Это было нелегко. Я уже был приёмным внуком императора, жил во дворце, сидел на заседаниях, учил греческий, читал. Она бегала по дому, дразнила слуг, лазила на крышу. Иногда я терял терпение. Иногда ловил себя на том, что жду её шагов в коридоре.

Однажды она подменила мою книгу.

Я читал в то время греческие диалоги, которые дал Диогнет, и носил свиток с собой. Утром обнаружил, что в футляре лежит что-то другое. Развернул. Это оказался Плавт, комедия, с самыми грубыми шутками, какие только писали в Риме. На полях была приписка, детским, корявым почерком: «Тебе полезно смеяться».

Я пошёл к ней. Она сидела на подоконнике, болтала ногами и смотрела на меня как ни в чём не бывало.

– Ты читал? – спросила она.

– Нет.

– Почему?

– Я не...

– Сороковая колонка. Про старика, который прятал деньги в горшке, а горшок унёс чужой раб.

– И?

– Прочти. А потом скажи, что тебе не смешно.

Я прочёл. Это была сороковая страница, там был горшок, собака, старик, крики, ужас. Я сидел в тени колонны и вдруг понял, что смеюсь, тихо, в кулак. Потом громче. Потом так, что заглянул слуга.

Вечером я пришёл к ней.

– Смешно, – признался я.

– Знаю, – сказала она. – У тебя лицо как у человека, которого много лет не щекотали.

* * *

Когда мне исполнилось девятнадцать, а ей десять, умерла её мать.

Это случилось осенью. Я занимался делами, как положено цезарю, и новость застала меня за столом. Императрица, женщина, которая никогда не торопилась и ничем не болела, умерла за три дня. Антонин пришёл в зал суда и сказал, что заседание закрыто. Лицо у него было непривычное, как будто на нём что-то стёрли.

Сенат объявил её богиней. Построили храм, выбили монеты. Антонин основал фонд, чтобы бедные девочки получали на пропитание: «Фаустинианки», в честь жены. Всё это было правильно, красиво и торжественно. Но в доме стояла тишина, в которой слышно было, как скрипят половицы.

Фаустину я нашёл на третий день после похорон, ближе к вечеру.

Её не было ни в комнате, ни в саду, ни в бане. Слуги растерянно качали головами. Я нашёл её у старой смоковницы, в дальнем углу сада, где никто не бывал. Она сидела, обхватив колени руками, спиной к стволу, смотрела на землю.

Я остановился. Не знал, что делать. Меня учили говорить речи, цитировать философов, утешать так, чтобы слова звучали красиво. А передо мной сидела десятилетняя девочка, у которой умерла мать, и ничего из этого не годилось.

Я сел рядом. Не слишком близко.

Она не повернулась.

– Ты тоже, да? – сказала она наконец.

– Что?

– Потерял. Мне сказали, что у тебя отец умер, когда ты был маленький. Что ты умеешь. – Голос у неё был ровный, сухой, чужой. – Скажи, как это делается.

Я молчал. Она ждала. Она правда ждала, что я скажу.

– Не знаю, – сказал я.

– Как не знаешь?

– Я был очень маленьким. Я не помню. Помню только, что потом было тихо. И что все ходили вокруг, и никто не знал, как со мной говорить.

Она повернула голову и посмотрела на меня. Глаза у неё были красные, сухие, очень взрослые.

– Вот-вот, – сказала она. – Все ходят и не знают. Тебе повезло, что ты не помнишь.

– Наверное.

– Я всё помню. Как она смеялась. Как любила горячую воду в бане. Как называла меня «моя птичка». Я думала, что это глупо. А теперь хочу, чтобы кто-нибудь назвал меня так.

Мы помолчали. Где-то в доме звякнула посуда. Ветер тихо шевелил смоковницу.

– Я не могу тебя так назвать, – сказал я осторожно. – Это будет странно.

– Очень, – сказала она и вдруг криво улыбнулась.

Я сидел рядом и ничего не говорил. Потом протянул ей руку. Не знаю, зачем. Она посмотрела на ладонь, помедлила и положила в неё свою, маленькую, холодную, с обкусанными ногтями.

Мы сидели так, пока не стемнело.

Потом она встала, вытерла лицо рукавом и сказала:

– Ты не такой скучный, как кажешься.

– Спасибо.

– Не за что. Просто факт.

Она пошла к дому. Я смотрел ей вслед и думал, что, наверное, когда-нибудь женюсь на этой девочке. И что это будет, пожалуй, лучше, чем я заслуживаю.

* * *

Свадьба была в сто сорок пятом году.

Мне было двадцать четыре, ей пятнадцать. Прошло семь лет с тех пор, как я первый раз увидел её в атриуме, и она успела превратиться в девушку, которая шла по коридору так, что слуги расступались.

Праздник был пышный, как и положено. Музыка, цветы, жертвы, толпы народа, раздача хлеба и денег. Я стоял в тоге, красный и потный, и пытался улыбаться. Она стояла рядом, в белом платье, с лёгкой тканью на лице, и под покрывалом я видел, как у неё дёргаются губы.

– Ты что? – прошептал я.

– Смешно, – прошептала она.

– Что смешно?

– Все такие торжественные. А у жреца нос в муке.

Я скосил глаза. У жреца и правда был белый нос: видимо, в пекарне, где он завтракал, не заметил. Я почувствовал, как внутри начинается смех. Я стиснул зубы, уставился в потолок, начал читать про себя Эпиктета.

Не помогло.

Мы вышли из храма, держась за руки, оба красные, с мокрыми глазами, и никто из гостей не понял, от чего: все решили, что от счастья. Отчасти так и было.

Вечером, когда праздник стих и мы остались одни в её новой комнате, она села на край кровати и посмотрела на меня серьёзно.

– Я хочу тебе кое-что сказать, – сказала она.

– Слушаю.

– Я не буду притворяться, что люблю философию.

– Я и не прошу.

– И я не буду носить плащ.

– Хорошо.

– И я хочу, чтобы ты время от времени спал в кровати. Нормальной. Не из жалости, а потому что иногда хочется, чтобы кто-то был рядом.

Я стоял посреди комнаты, в парадной тоге, чувствуя, что краснею до корней волос.

– Хорошо, – сказал я.

Она кивнула. Подвинулась на кровати и похлопала по одеялу рядом.

– Садись, философ. Расскажи, что ты думаешь о Плавте.

Это было лучшее начало семейной жизни, какое я мог себе представить.

* * *

Позже, многие годы спустя, когда её уже не было, я пытался вспомнить, когда именно полюбил её. Не мог. Любовь у меня не была событием. Она была привычкой, которую я не заметил, как приобрёл. Как привычка вставать на рассвете. Как привычка слушать реку.

Но когда я думал о вещах, без которых не смог бы жить, я всегда начинал с её смеха.

У нас родилось тринадцать детей. Она рожала их тяжело, с кровью, с долгими ночами, и ни разу не пожаловалась. Многих мы хоронили вместе, стоя рядом, и я ни разу не слышал, чтобы она сказала вслух, что ей жаль. Она держалась так, будто горе можно просто нести, как воду, не расплёскивая.

Сейчас, на Дунае, мне часто хочется взять Плавта, раскрыть на странице сорок и прочитать про горшок и собаку. Я не могу. Знаю, что будет смешно. Но не уверен, что смогу смеяться.

Глава 7. Антонин

Дом, в котором я прожил двадцать три года, был самым скучным домом в Риме.

Я пишу это с нежностью. Антонин не любил шума. Утром он вставал рано, пил воду, ел кусок хлеба с сыром и шёл принимать просителей. К полудню возвращался, обедал без гостей, потом либо работал, либо дремал с книгой на лице. Вечером ужинал с семьёй, и разговоры за столом были такие, что любой поэт убежал бы через полчаса: о ценах на масло, о ремонте водопровода, о том, кого из сенаторов назначить в Африку и почему не этого.

Он никогда не говорил, что я должен учиться править. Он просто брал меня с собой.

На советы, где решали о налогах. На суды, где выслушивали жалобы. На приёмы послов, где нужно было выглядеть заинтересованным, когда на самом деле хотелось спать. Он сажал меня рядом, чуть позади, и я смотрел, как он слушает.

Слушал он странно. Не кивал, не хмурился, не торопил. Люди говорили, он молчал, и в какой-то момент они сами начинали понимать, что говорят лишнее. Потом он задавал один вопрос, всегда самый простой, и вдруг выяснялось, что всё остальное было шумом.

– Почему вы так делаете? – спросил я его однажды.

– Как?

– Молчите.

– Потому что пока человек говорит, он ещё надеется, что я с ним соглашусь, – сказал Антонин. – А когда я молчу, он вынужден слушать себя. Очень полезно. Многие впервые слышат.

Он улыбнулся и продолжил есть.

* * *

Я очень скоро заметил, что он не умеет торопиться.

Ни в чём. Он не любил принимать решения быстро и не любил менять их потом. Если вопрос был серьёзный, он откладывал на день, на два, на неделю, выслушивал всех, кто хотел говорить, перечитывал бумаги, ходил по саду, возвращался, спрашивал ещё раз. Когда решал, объявлял спокойно, без торжества, и этого решения уже ничто не могло сдвинуть.

Кто-то из друзей сказал мне, что при нём государство стало похоже на хорошо смазанное колесо: крутится, не скрипит, никто не вспоминает, что оно есть.

Он не уезжал из Италии. Ни разу за двадцать три года. Провинции видели его в письмах, в чеканке монет, в людях, которых он туда посылал. Я однажды спросил, не хочет ли он посмотреть Грецию или Египет. Он удивился.

– А зачем?

– Чтобы знать.

– Я знаю, – сказал он. – Мне пишут. А когда приезжает император, провинция неделю готовится, неделю его принимает, и потом три месяца считает убытки. Лучше я посижу дома. Им так дешевле.

Я долго думал над этой фразой. Потом решил, что запишу её, когда научусь так жить. Не записал. До сих пор не научился.

* * *

В тот год, когда мне исполнилось двадцать шесть, умер Эвмен.

Он был рабом в нашем доме. Старый, сухонький, с лысой головой, покрытой пятнами, как кора платана. Когда я был маленьким, он водил меня в школу за руку, нёс мои таблички, отгонял собак на улице. Он знал, что я не люблю горох и боюсь грозы. Он никому об этом не рассказывал. Просто в дни гроз клал мне под подушку тёплый камень, и я засыпал.

Я не видел его последние месяцы: он переехал в загородный дом, потому что ноги отказали. Мне сказали, что он умер за один день. Тихо, ночью, во сне.

Я стоял у ложа, где его положили, и смотрел на лицо. Оно было совсем маленьким. Мне показалось, что я никогда не замечал, как он мал.

Я не помню, как это началось. Что-то в горле сжалось, и вдруг лицо стало мокрым, и я понял, что плачу. Не красиво, не по-философски, а как плачут дети: всхлипывая, давясь, не умея остановиться.

Слуги, стоявшие вдоль стены, замерли. Кто-то отвёл глаза. Кто-то тихо кашлянул. Потом ко мне подошёл управляющий, вежливый, холодный человек, который служил в доме ещё при Адриане, и наклонился к самому уху.

– Цезарь, – прошептал он. – Прошу вас. Не при слугах. Не к лицу.

– Что не к лицу?

– Плакать. Это неприлично. О рабе.

Он сказал это без злобы. Он говорил так, как говорят о правилах этикета. Мне вдруг стало ужасно стыдно. Я попытался остановиться. Сжал зубы, вытер лицо рукавом, выпрямился. Слёзы продолжали течь.

В этот момент вошёл Антонин.

Он стоял в дверях, в простой тунике, с посохом, на который опирался в последние годы. Он посмотрел на меня, на управляющего, на слуг, сразу всё понял. Я видел это по его лицу: он понял и очень рассердился. Но не на меня.

– Что здесь происходит? – спросил он тихо.

Управляющий выпрямился.

– Цезарь Марк... позволил себе, – начал он. – При слугах. Я лишь хотел напомнить...

– Что ему не к лицу?

– Да, император.

Антонин помолчал. Потом подошёл ко мне, положил руку на плечо. Рука была тёплая и тяжёлая.

– Пусть он будет человеком, – сказал он, не поворачивая головы.

Управляющий побледнел.

– Ни философия, – продолжил Антонин, – ни империя не отнимают у человека того, что дали боги. А если отнимают, то это плохая философия и плохая империя. Оставь его.

Слуги вышли один за другим, тихо, как выходят из храма. Мы остались втроём: я, Антонин и мёртвый старик на ложе.

* * *

Я плакал ещё долго. Антонин не уходил. Он сел на скамью у стены, положил посох на колени и сидел молча. Не утешал, не говорил, что всё будет хорошо, не напоминал, что смерть неизбежна. Просто сидел.

Когда я немного успокоился, он сказал:

– Я хоронил детей.

Я поднял голову.

– Двоих сыновей. Давно, ты тогда ещё был ребёнком. Они умерли от лихорадки, с разницей в год. Я стоял у гроба и думал: надо держаться. Император не плачет. Отец не плачет. Сенатор не плачет. Я так держался, что ничего не чувствовал. Несколько лет.

Он помолчал.

– Потом однажды ночью я проснулся и понял, что не помню лиц. Ни одного, ни другого. Мне пришлось выдумывать. И я тогда подумал: если не позволять себе потери, то не остаётся и того, что потерял.

Я слушал, не дыша.

– Не знаю, прав ли я, – сказал Антонин. – Но я решил, что лучше помнить, чем держаться. Поэтому не стесняйся. Старик любил тебя. Он заслужил слёзы.

Он встал, тяжело, медленно.

– А про то, что неприлично, – добавил он, уже у двери, – я скажу Ферону. Он найдёт, чем заняться. Сегодня же.

Управляющего звали Ферон. Через неделю его перевели в какое-то поместье на побережье, с повышением. Я потом узнал, что он считал это ссылкой.

* * *

Эвмена похоронили на нашем семейном участке. Это было против обычая нашего рода, где вольных и рабов клали порознь. Антонин сказал, что обычаи придуманы для спокойствия живых, а не для достоинства мёртвых, и распорядился положить его рядом с моими дедами.

Я стоял у могилы, держа в руках тёплый камень, который достал из-под подушки. Не знаю, зачем взял. Мне вдруг показалось, что камень надо вернуть.

Антонин подошёл, посмотрел.

– Что это?

– Он клал мне это под подушку, когда была гроза.

– Положи в могилу.

– Он не поймёт.

– Не поймёт, – согласился Антонин. – Но ты поймёшь.

Я положил. Камень лёг на свежую землю, маленький и серый. Я смотрел на него и чувствовал, что наконец что-то сделал правильно.

Много лет спустя, когда я хоронил детей и стоял над маленькими могилами, я часто вспоминал этот день. Тогда я не следовал ему. Я учился другому: держаться. Мне казалось, что так честнее. Что стоик не должен позволять себе слабость. Я забыл, что человек, который научил меня всему, о чём я теперь пишу, сам сказал: помни лица.

Я не всегда помню. Это правда.

* * *

Последние годы он жил в Лории.

Я приезжал туда по несколько раз в год и жил неделями. Дом был старый, тёмный, с огромным очагом, у которого Антонин любил сидеть вечерами. Вино он делал сам и всем объяснял, как плохо оно получилось. Виноград собирали в сентябре. Он выходил в сад, брал нож, вставал вместе с рабами и срезал грозди. Рабы пытались его отговорить. Он отмахивался.

– Я с детства это делаю, – говорил он. – Смотри, Марк. Никуда не торопись. Берёшь гроздь, срезаешь, кладёшь в корзину. Следующая. И ни одной не бросай. Тогда к вечеру будет много.

Я стоял рядом, неловкий, не умеющий держать нож. Он показывал, как надо. Я срезал, кладя в корзину, и руки были липкие и сладкие.

– Всё так и делается? – спросил я. – Править, жить?

– А чем, по-твоему, ещё? – удивился он. И прибавил с улыбкой: – Только виноград проще. Он не спорит.

Это был, наверное, самый счастливый сентябрь в моей жизни. Я не знал тогда, что их осталось немного. Знал только, что рядом человек, у которого хватает сил на то, чтобы не уставать.

В последний раз я приехал в Лорий в марте.

Приехал на три дня, по делам, и остался на шесть. Антонин жаловался на желудок, но шутил. Он сказал, что здесь, в Лории, живёт хороший сыр, а в Риме нет, и что он собирается есть его до самой смерти.

Тогда мне это показалось шуткой.

Часть II. Два августа

Глава 8. Вода и хлеб

Река сегодня тихая. Часовые сменились. Продолжу.

Лето сто шестьдесят первого года выдалось жарким. Мы с Люцием делили дворец, как делят пирог: он взял половину, где было шумно, я другую, где было тихо. Рим привыкал к нам обоим. Он смотрел на нас так, как смотрят на новую монету: на зуб.

В последний день августа Фаустина родила двух мальчиков. Близнецов. Город сходил с ума от радости: на монетах выбили двух младенцев на рогах изобилия и подписали «Счастье времён». Я стоял у колыбели и думал, что вот оно, счастье, и что оно вполне помещается на моих двух ладонях.

Одного из них мне предстояло похоронить в четыре года. Другого я не сумею научить тому, чему хотел.

Но в тот день я этого не знал. Я просто смотрел на них и был глуп, как бывает глуп человек, которому хорошо.

* * *

Осенью пришла вода.

Тибр поднялся за одну ночь. Я проснулся от крика: слуга стучал в дверь и повторял, что река входит в город. Я вышел на террасу Палатина. Внизу, в темноте, то, что вчера было Бычьим форумом, блестело, как расплавленное олово. По воде плыли доски, бочки, кто-то кричал, кто-то нёс на плечах старуху. Мёртвый бык, раздутый, как бурдюк, медленно разворачивался у подножия холма.

К утру рухнули десятки домов. Утонули тысячи животных. Склады, где лежало зерно, залило: мешки разбухли и начали гнить прямо на полках.

Через неделю в городе начался голод.

Я много лет читал о том, как должен жить мудрец. О страстях, о смерти, о воле. Рустик учил меня не бояться, Эпиктет учил меня не цепляться. Но вот что я понял в те недели: ни одна книга не кормит город. Город кормит хлеб. Я просиживал ночи на складах, считал мешки, подгонял корабли из Египта и Африки, ругался с хлеботорговцами. Люций ездил со мной и вдруг оказался хорош: он обаял всех, от грузчиков до сенаторов, и там, где я только требовал, он умел договориться. Я смотрел на него и думал: вот чего мне не хватает. Умения, чтобы тебя любили, пока ты делаешь то, что нужно.

Мы выдержали. Рим никогда не узнает, сколько мешков зерна стоило мне двух месяцев сна.

* * *

Весть с востока пришла, когда вода ещё не ушла из подвалов.

Гонец был весь в пыли, лошадь под ним пала на последней миле. Он упал на колени в нашем зале и сказал то, что нельзя было сказать мягче: парфянский царь Вологез вошёл в Армению, посадил там своего человека, а римский легат Седаций Север, который пошёл ему навстречу, погиб вместе со всем своим легионом у города Элегия.

В зале стало тихо. Даже Люций, всегда готовый к шутке, не улыбнулся.

Мы собрали совет той же ночью. Префекты, сенаторы, старые консулярии, которые воевали ещё при Траяне и помнили, как это бывает. Говорили долго. Затем стало ясно то, о чём все молчали: на восток должен ехать император. Легионам нужно видеть имя, а не приказ. Армия не идёт за бумагой.

Я не мог ехать. Рим был больной, голодный и ещё мокрый. Германцы-хатты уже щупали границу на Рейне, в Британии становилось неспокойно. Кто-то должен был остаться и держать город за горло.

Ехать мог только Люций.

Я посмотрел на брата. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, с видом человека, которому только что предложили хорошую охоту. Тридцать один год. Ни одной войны за плечами.

– Наконец-то ты мне доверяешь, – сказал он.

– Я тебе не доверяю, – сказал я. – Ты мне нужен.

Он засмеялся.

– Это почти одно и то же.

– Нет, – сказал я. – Но спорить мы не будем.

* * *

Я послал за трибуном ночной стражи.

Он пришёл через час и встал на пороге по стойке, как стоят люди, которых вызвали ночью и не объяснили зачем. Я узнал его сразу: то же широкое лицо, та же усталость, которая уже не боролась с выправкой, а просто жила рядом.

– Гай Корнелий Руф, – сказал я.

– Император.

– Какое слово ты передал страже в ту ночь, в марте?

Он не удивился. Только чуть помедлил.

– Ровность духа, император.

– И как стража?

– Просили «Победу», – сказал он без выражения. – Говорили, что от «ровности духа» хочется спать.

Я не выдержал и улыбнулся. Впервые за много дней.

– А ты?

– Я неделю не мог уснуть, – сказал он. – Всё думал, что оно значит.

Я смотрел на него и понял, что передо мной тот, кто мне нужен. Не умный, не хитрый, не из великого рода. Просто человек, который неделю не спит, если ему сказали странное слово.

– Ты едешь на восток, – сказал я. – С моим братом.

– В каком качестве?

– В качестве трибуна. И ещё в одном. Я хочу, чтобы раз в неделю ты писал мне письмо. Не донос. Мне не нужны чужие тайны. Мне нужно знать, что он ест, что пьёт, кого слушает и как спит. И каким он возвращается к себе по ночам. Ты понимаешь разницу?

Он молчал долго.

– Если он спросит, о чём я пишу, – сказал он наконец, – я не стану лгать.

– Я и не прошу, – сказал я. – Пусть знает. Тогда он будет лучше, чем если бы не знал.

Так я нашёл себе глаза в лагере брата. Я тогда не понял, что сделал заодно кое-что ещё: связал этого человека со своей судьбой на много лет вперёд.

* * *

Люций выехал из Рима летом следующего года. Это был не отъезд, а праздник. Колонны шли через весь город: легионеры, всадники, повара, музыканты, актёры, гладиаторы. Он взял с собой даже своего любимого коня Волюкра, которого кормил не ячменём, а изюмом и орехами, и которому, говорили, уже заказал золотую статую.

Я проводил его до Капуи. Мы ехали рядом, не торопясь. Брат шутил, смеялся, махал рукой встречным. Я смотрел на него и думал о том, что завидую. Не его беспечности, а лёгкости, с которой он умел быть живым.

В Капуе мы остановились. Колонна растянулась по дороге. Он повернулся ко мне.

– Береги Рим, – сказал он.

– Береги себя.

– Я привезу тебе Ктесифон, – сказал он. – Положу на стол, как блюдо.

– Мне не нужен Ктесифон. Мне нужен ты живой. И чтобы армия вернулась.

Он улыбнулся, но я не понял его улыбки.

– Знаешь, в чём наша беда, брат? – сказал он вдруг. – Ты думаешь, что я легкомысленный, а я думаю, что ты скучный. И мы оба правы. А Рим пока терпит.

Он ударил коня пятками и поехал вперёд. Не оглянулся.

Я стоял на дороге и смотрел, как уходит колонна. Пыль висела в воздухе, медленно оседая. Философ остаётся, воин едет, думал я. Мир уверен, что знает, кто из нас кто.

Я ошибался в обоих.

Глава 9. Письма с востока

Ночь. Ветер с реки. Лампа коптит, но пусть.

Я люблю письма. Это дурная привычка книжного человека: верить, что на бумаге увидишь больше, чем глазами.

Руф писал коротко и сухо, как пишут рапорты. Ни украшений, ни цитат, ни попыток понравиться. Раз в неделю гонец привозил мне свиток, и я читал его вечером, при лампе, пока Фаустина укладывала близнецов. Каждый раз мне казалось, что я стою рядом с братом и вижу всё сам.

Первое письмо пришло из Апулии.

«Август Марк, привет. Твой брат слёг в Канузии. Врачи говорят, что это ничего, но он бредит. Я дежурил у кровати две ночи. Он звал тебя».

Я уехал в ту же ночь. Три дня в седле по плохим дорогам, с одним спутником и двумя запасными лошадьми. Вошёл в комнату и увидел его: серого, осунувшегося, с мокрыми от пота волосами. Тот самый Люций, который смеялся у ворот. Я сел на край ложа и просидел три ночи.

На четвёртую жар спал. Он открыл глаза, поморгал и посмотрел на меня.

– Ты что, сиделка? – спросил он хрипло.

– Я брат, – сказал я.

Он закрыл глаза и улыбнулся. Больше мы об этом не говорили. Но я запомнил, что в бреду человек зовёт не того, кого любит, а того, кому доверяет. И что эти двое не всегда совпадают.

* * *

Второе письмо шло долго. Оно пришло уже из Греции.

«Мы вышли из Брундизия на кораблях. Это не корабли, а плавучие пиршественные залы. Он останавливается в каждом порту. В Коринфе был пир на три дня. В Афинах его встречали речами философов, а он смотрел на театр. В Эфесе уже ждали музыканты. Мы идём на войну, август, но идём очень медленно».

Я дочитал и поймал себя на раздражении. Это было неправильное чувство. Я стал разбирать его, как учил Эпиктет, по частям. Что именно меня злит? Что брат ест и пьёт? Это его дело. Что он тратит время? Время не принадлежит ни мне, ни ему. Что люди видят это и судят? Они всегда судят.

В конце концов остался один честный остаток. Я злился потому, что завидовал. Я хотел бы, чтобы кто-то перевязал и мои корабли гирляндами. Хотя бы раз.

Я написал себе на полях записной таблички: «Не завидуй. Не суди. Следи за собой». Получилось плохо. Но таблички тогда были лучше, чем люди.

* * *

Третье письмо пришло из Антиохии.

«Мы прибыли поздней осенью. Антиохия великолепна. Армия в ужасном состоянии, август. Легионеры живут по домам, ходят в театр и в бани, волосы у многих завиты. У половины нет щитов, у кого есть, те заржавели. Лошади худые. Многие забыли, как стоять в строю. Они не воевали больше пятнадцати лет и не хотят начинать».

Я читал и верил каждому слову. Фронтон писал мне примерно то же, из других источников: сирийские легионы разбаловались в роскоши мирных лет. Они привыкли быть частью города, а не частью армии.

Но в том письме было ещё кое-что.

«Командует Сирией Авидий Кассий. Невысокий, жилистый, из Кирра, сын бывшего префекта Египта. Он вывел солдат из бань, заставил маршировать по раскалённой дороге с полной выкладкой. Повесил двоих. Говорят, ещё нескольких высек до костей. Солдаты его ненавидят, но к весне они снова похожи на солдат».

И ниже, другим почерком, мельче и осторожнее, будто Руф писал это после долгого раздумья:

«Он не любит пиров твоего брата и всегда уходит раньше. Он говорит о тебе с уважением. Но, мне кажется, не любит и тебя. Я пока не понимаю, что это значит».

Я перечитал это место три раза. Потом положил письмо в шкатулку и закрыл. Мне следовало бы сжечь его. Я не сжёг. Человек не любит выбрасывать предупреждения, даже когда не знает, что с ними делать.

* * *

Четвёртое письмо было самым длинным и самым странным.

«У твоего брата появилась женщина. Её зовут Пантея, она из Смирны. Говорят, что её красота не в лице, а в голосе. Она поёт, читает Гомера наизусть и смеётся над ним в глаза. Он ходит за ней по пятам, как мальчик. Я слышал, как он спрашивал, хорошо ли ему сегодня идёт тога. Раньше он спрашивал только, хорошо ли идёт лошадь».

И чуть ниже:

«Я не знаю, что ты хочешь, чтобы я об этом написал. Поэтому пишу как есть. Он счастлив. Но, кажется, и сам не вполне понимает, с чем играет».

Я отложил письмо и долго смотрел на огонь лампы.

Мне было неловко. Не оттого, что брат завёл любовницу: в его положении и в его возрасте это было почти правилом. Мне было неловко оттого, что я уже решил выдать за него мою дочь Лукиллу. Ей было тринадцать. Я думал: пусть брат станет мне ещё и зятем, пусть эта связь скрепит то, что и так скреплено. Теперь я не знал, правильно ли отдавать ребёнка человеку, который смотрит на другую.

Я решил сделать это всё равно. Потом я часто спрашивал себя, был ли это расчёт императора или слабость отца. Никто, кроме меня, не знает правды, а я сам не уверен.

В ту ночь я сел и написал брату длинное письмо. О долге. О том, что римский август не просто человек, а лицо Рима. О том, что армия смотрит на него, а не на его кубок. Писал аккуратно, без упрёков, как друг.

Ответ пришёл через два месяца. Короткий, на одной табличке.

«Брат, я помню, что я август. А ты помнишь, что ты умеешь радоваться? Твой Люций».

Я перечитал эти слова много раз. И не нашёл, что ответить. Не потому, что он был прав. А потому, что был прав наполовину, и вторая половина была моя.

* * *

Позже, много лет спустя, на берегу реки Грон, я напишу себе одну фразу. Я напишу её, чтобы не забыть: следи, чтобы тебя не превратили в цезаря, не окрасили пурпуром. Потому что это бывает. Это случается тихо, постепенно, как краска пропитывает ткань.

В тот вечер в Риме я этого ещё не понимал. Я думал, что мне нужно беречь брата от власти.

Мне следовало беречь себя.

Глава 10. Города, которые горят

Сегодня холодно. Пальцы стынут на стиле. Но я хочу записать это сейчас, пока помню.

Войну на Востоке я видел только через чужие глаза. Руф рассказывал мне её потом, много лет подряд, по ночам, когда не спалось нам обоим. Я слушал, перебивал, переспрашивал. Теперь мне кажется, что я был там сам.

Но сначала о том, чем я занимался в Риме.

Я судил.

Мне нравилось судить. Это единственное место, где слова весят столько, сколько стоят. По утрам я садился на возвышение в зале Палатина, рядом со мной сидели юристы, а передо мной стояли люди: купцы, вдовы, вольноотпущенники, наследники. Они спорили о завещаниях, о долгах, о границах полей. Спорили так, будто от этого зависела судьба мира. Для них так оно и было.

Однажды ко мне привели раба. Хозяин в завещании назвал его свободным, но наследник оспаривал: слова, мол, записаны криво, закон нарушен. Мой юрист Меций, человек умный и честный, шепнул мне, что формально наследник прав.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.